



Ляман БАГИРОВА

ЗЕРКАЛО СЕРДЦА



Современная проза (Четыре Четверти)

Ляман Багирова
Зеркало сердца

«Четыре четверти»

2028

УДК 821.161.1(476)-3
ББК 84(4Бей=Рус)6-44

Багирова Л. С.

Зеркало сердца / Л. С. Багирова — «Четыре четверти»,
2028 — (Современная проза (Четыре Четверти))

ISBN 978-985-581-815-2

Идеальная книга для тех, кто устал от бесконечной гонки. «Зеркало сердца» — это как вечер у камина с очень мудрым собеседником. Ляман Багирова не учит жить, она просто показывает, как тонко и глубоко чувствуют другие. Обычные люди. Не герои, не спасатели мира. Но именно в их историях — любви, злости, прощении и надежде — мы находим ответы на свои вопросы. Эта проза не даст забыть о том, что счастье существует. Оно прячется в мелочах, даже когда кажется, что мир рухнул. Позвольте этой книге стать вашим личным отражением. Она оставит после себя свет. Много света.

УДК 821.161.1(476)-3
ББК 84(4Бей=Рус)6-44

ISBN 978-985-581-815-2

© Багирова Л. С., 2028
© Четыре четверти, 2028

Содержание

Чудеса под солнцем	6
Рапсодия майского дня	6
Утренние звёзды	9
Слово о свекрови	15
Неловкость	19
Музыка осени	25
«Всё пропаль!»	29
Месяцы года	33
Январь: На побегушках	33
Конец ознакомительного фрагмента.	36

Ляман Багирова

Зеркало сердца

© Багирова Л. С., 2026

© ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2026

Чудеса под солнцем

Рhapsодия майского дня

Эти строки я пишу ночью в тишине деревенского дома, пропахшего мёдом и старостью. Хозяин его, проводший, кажется, на пасеке полжизни, крепко спит. День был трудный, а бывали ли у него лёгкие дни?.. Труд пчеловода тяжёл и кропотлив.

Мои попутчики спят, утомлённые долгой дорогой и весёлой беседой. Это только кажется, что веселье даётся легко и ни к чему не обязывает. Любое общение требует душевной отдачи, настройки на собеседника, и вот – вроде всё легко и просто, а силы всё равно уходят, потому что трудно слушать, но не слышать. Общаться бездумно, не вникая. Кто бы что ни говорил, это почти невозможно. Ну, если только не обладать потрясающим даром неуважения к собеседнику.

К счастью, мои милые спутники таким даром не обладают. Это друзья, проверенные временем и радостью, ибо чужая радость – это тот оселок, на котором правится искренность дружбы. За долгие годы общения мы вынесли главное – стараться услышать и быть деликатными друг к другу. И сейчас, когда мягкий лунный свет озаряет их обветренные лица, я думаю, что всё идёт так, как должно. Что именно он, тонкий лунный луч, способен выразить сущность нашей дружбы – застенчивую деликатность сквозь внешнюю грубоватость.

Мне не спится. Это бывает всякий раз на новом месте. Нужно обвыкнуться с ним, принять его в себя, и тогда, может быть, оно откроет тебе свою душу. Только тогда прилетят самые сладкие, самые добрые сны. А пока нас двое бодрствующих – я и хозяйская кошка Манька с такими отчаянными зелёными глазами, что сразу видно: оторва и рулевая. Манька удобно устроилась на железной печке – та ещё хранит тепло и пристально поглядывает на меня. На её серо-рыжей морде читается: «Ходю тут всякие, гостят, не спят, из-за них и глаз не сомкнёшь. Не ровен час, что-нибудь сопрут!»

Спать я ничего не собираюсь. Манька, видно, немного поверила в это и ослабила бдительность. Прикрыла глаза, уютно подобрала под себя лапы и хвост – ни дать ни взять бройлерная курочка – и делает вид, что дремлет. Но не дай Бог шелохнуться – зелёное суровое око устремляет свой взор на меня. Ладно, Манька, буду тише воды, ниже травы, даже бумагой не зашуршу, чтобы твой покой не нарушить.

Послушаем-ка вместе голоса ночи. В них много таинственного и доброго. Здесь ночь изменила своему классическому определению и вовсе не кажется зловещей.

Тихо стучат ходики, оставшиеся ещё с незапамятных времен. Сейчас точно таких не встретишь. Тёмно-коричневые, с тусклым циферблатом и тёмными маленькими гирьками, они важно отсчитывают минуты и часы. В будущее ли?.. А может, в прошлое?.. Уж больно они старинные. И возвещая каждый новый час, они тихонько вздыхают, словно вспоминают молодость. Даже часам хочется повернуть время вспять.

Бьются о маленькие окна, затянутые по деревенскому обычаю сборчатыми занавесками, белые мотыльки. В лунном свете они кажутся кружевным туманом, живым, словно ртуть. Май в разгаре, на землю будто накинули зелёное покрывало, расписанное белым клевером, синей медуницей, жёлтой сурепкой и алыми маками. Ах, есть ещё островки голубой вероники и оранжевых купальниц: радуга в мае не только на небе. Горят на солнце синие, золотистые, зелёные перья нарядных шурков, они летают, суетятся, щебечут, взахлёб рассказывают небесной и земной радугам друг о друге.

Но вернусь к ночи. Сейчас она накрыла прохладой землю, и та спит, набирается сил, чтобы встретить новый день и восславить весну. Всё тихо, только бормочет сонный ручей

вблизи дома да изредка залает пёс в будке. Но лай слабый, короткий, в один-два такта. Видно, снится псине что-то тревожное.

На стене висит топор. Как сказала хозяйка, от блуда. То ли в шутку, то ли всерьёз. Хозяева – верующие особого толка, исправно соблюдают все религиозные предписания. Развод у них – смертельный грех, считается, что тем самым потворствуют блуду. «Если женщина в разводе, то она даже в церковь на венчание собственных детей войти не может, считается позором», – говорит хозяйка, и в глазах её при этом тлеет печаль. Кто знает, у кого на сердце какая боль. В каждой избушке свои погребушки...

Манька, кажется, уснула на железной дровяной печке. Такие неуклюжие сооружения я видела лишь в детстве – они мне напоминали отчего-то пауков с огромным прямоугольным телом и коленчатыми трубами-ногами. Чем не паук?.. Но столько тепла и уюта в его железном чреве, что хочется обнять его, как старого знакомого. «Не пожалей своего тепла, железный старичок, глядишь, и в нашем мире прибавится доброты».

Под ногами шуршит что-то. Манька недовольно приоткрывает один глаз. Я наклоняюсь и достаю из-под лавки пучок сухой полыни. Она растёт здесь повсюду, покрывая горы серо-зелёным жёстким ковром, отчего те кажутся сказочными исполинами в зеленоватых доспехах.

Пучок ветхий, того и гляди рассыплется. От него пахнет пылью и печалью. Полынь используют не только как лекарственное средство, но и от сглаза. Я вспоминаю, как бабушка, разводя огонь в очаге, неизменно бросала в него пучок полыни, приговаривая: «Сгинь, дурной глаз, умолкните злые уста, замри злое слово. Полынь-травка, отведи от нашего очага всякое зло, всякую нечисть, мокрицу и шашель. А добро приваживай к дому. Фу! Ха! Аминь!» И стлался над бабушкиным садом, над её руками сизоватый горький дым, и не было слаще и роднее этого полынного духа.

Часы нехотя и тихо бьют пять утра. Скоро встанет хозяин, ему ни свет ни заря на пасеку. Надо проверить рамы, проветрить улья, собрать цветочную пыльцу, нарезать свежего мёда в сотах.

Да вот и он – кормилец семьи – мёд. Янтарное чудо в хрустальной вазе. А рядом вазочка поменьше с утрамбованной цветочной пылью. Кажется, что и стены пропитаны медовым духом. Мёд, пыльца, прополис, маточное молочко – всё даёт пчела-труженица, благосостоянием своим обязана семья мёду и благодарна ему за это.

Голоса ночи постепенно стихают. Одна за другой гаснут крупные звёзды, на сером востоке появляется бледно-розовая полоса. В кухню входит заспанный хозяин. Манька потягивается недовольно на печке: разбудили царевну, видите ли...

– А вы что же, не ложились? – удивляется хозяин. – Так вас потом разморит, весь день носом клевать будете.

Я уверяю его, что клевать носом не буду и что отлично выспалась и встала незадолго перед ним. Врать нехорошо, конечно, но зачем же посвящать человека в причины своей бессонницы?!

– А будете яичницу с помидорами? – заговорщицки подмигивает мне хозяин. – Пока никто не встал, я сейчас её сварганю по собственному рецепту. Помидоры свои, с огорода, без химии. Пальчики оближете. И чай заварю с горным чабрецом.

Он разжигает печку сосновыми ветками и шишками. Огонь лениво вьётся по стенкам, стелется синими струйками и вдруг вспыхивает оранжевым весёлым светом. В кухне пахнет смолой, мёдом, цветами, и запах этот тоже веселит, успокаивает.

Хозяин не спеша ставит на печку чайник и большую чёрную сковородку. Кидаёт в неё кусок сливочного масла, оно сразу же тает и мелодично шипит, словно поёт.

Так же сосредоточенно хозяин надрезает крест-накрест четыре больших розовых помидора, кладёт их на сковородку и накрывает её крышкой. Сковородка неистовствует и плюётся

масляными брызгами. Те мгновенно вспыхивают на горячей печке и сразу превращаются в синий пахучий дым.

Но вот помидоры достаточно пропеклись, шкурку с них снять легко. Я наблюдаю за отточенными движениями хозяина. Его рабочие руки на удивление легки и изящны, так виртуозно он колдует над яичницей.

Очистив помидоры, он нарезает их кружками, посыпает чёрной солью и красным перцем и снова бросает на сковороду томиться. Те скворчат, пуская сок. Тем временем в чашку выпускаются шесть яиц, одно за другим, легко взбиваются и – вуаля! – отправляются к помидорам. Наблюдать за этим процессом – удовольствие, настолько он зрелищный и музыкальный!

Манька немного волнуется, но виду не показывает, часть хозяйской еды ей положена по праву рождения в этом доме, поэтому волнение чисто символическое!

Пока ведутся приготовления, хозяин посвящает меня в тайны своей работы. Пчеловодство – целая наука, увлекательная и серьёзная. Как и жизнь самих пчёл: словно маленькое государство с собственными законами, правлением и чудом строительного искусства – сотами. Каждая ячейка – совершенство линий! Хозяин воодушевляется, и некрасивое лицо его становится одухотворённым. *«Понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке»*¹, – кажется, сказано про него. Все же как прекрасен может быть человек, когда он увлечён своим делом!

И вот, наконец, альфа и омега сегодняшнего утра – румяная, жёлто-алая скворчащая яичница на столе. Уже закипел чайник, и хозяин занят новым ритуалом – словно священнодействуя, он ополаскивает фарфоровый заварной чайник, насыпает в него чёрный чай, щепоть чабреца и ещё каких-то сиреневых сухих цветов. «Медуница», – догадываюсь я.

Аромат от чая волшебный. Мы неторопливо, стараясь не обжечься, поглощаем свои порции. Хозяин ставит сковородку на край печки, чтобы яичница не остыла: скоро встанут завтракать и остальные.

Мы пьём чай с мёдом и пергой – цветочной пылью. У неё специфический терпкий вкус, но вскоре привыкаешь. Перга очень полезна: она улучшает зрение и защищает от инфекций.

Завтрак наш проходит в полном молчании. И я, кажется, только сейчас понимаю смысл поговорки: «Когда я ем, я глух и нем». Верно! В ней отразилось глубокое уважение человека к плодам своего труда. Они действительно достаются потом и кровью.

Ходики нежно возвещают семь утра. Майское утро в самом расцвете. Хозяин улыбается: – Ну, мне пора. А вы отдохните, мало ведь спали. Понравилась яичница?

Я киваю от всей души! Ещё бы! Никогда не любила это блюдо, но тут, кажется, всю сковородку бы съела!

– И чай! Прелесть!

– Так пейте на здоровье. – Хозяин явно рад, но смущается. – Приятного отдыха.

Он скрывается за занавеской, разделяющей вместо двери кухню и прихожую. Манька следует за ним по своим делам.

Я снова остаюсь одна. Но уже ненадолго. Сейчас появятся мои милые заспанные спутники, хозяйка дома и её дети. День пойдёт своим чередом.

Очередной майский день, напоенный солнцем, лёгким дождём и отдыхом. А его, как и счастья, становится всё меньше. Но может, оттого он сладок и памятен?..

¹ Строчка из стихотворения И. Бродского «На смерть друга».

Утренние звёзды

Моей подруге Машеньке – деликатнейшему человеку и прекрасному врачу

Когда череда прелестных задумчивых дней сменялась дождливыми буднями, когда небо из бирюзового становилось молочно-опаловым, когда по утрам обледеневший асфальт мелодично хрустел под ногами, люди понимали: в их южный город пришла зима. И медленно, но верно устанавливала свои порядки: графичность зданий – в холодном воздухе они сразу все словно вытягивались, бледнели и хорошели, крик ворон – крылатых фрейлин зимы, уксусный запах палых мокрых листьев. Зима в южном городе походила на благовоспитанную даму-дворянку – вкрадчивую, спокойную, немногословную, но уверенную в своих правах. Спокойно и уверенно ступала она по улицам города, окрашивая его в серый цвет – цвет южной зимы. В её присутствии размеренными становились шаги, глуше звучали голоса, словно элегантность и сдержанность сообщалась людям, деревьям, машинам, животным и даже детям – а уж эти проказники всегда готовы поднять визг, ор и гам по любому поводу.

Но южная зима – Дама в сером – и на них действовала успокаивающе. И в этом было главное её достоинство – упорядочивались мысли, строже и тоньше становились размышления, ароматнее воспоминания. Оживали, как призраки былого...

* * *

Люблю декабрь за призраки былого,
За всё, что было в жизни дорогого
И милого, бессмысленного вновь.
За этот снег, что падал и кружился,
За вещий сон, который сладко снился,
Как снится нам последняя любовь.

Машенька вставала рано. И не потому, что так было заведено в мужней семье, куда вошла она молодой невесткой три месяца назад. И не потому, что в родительской семье её поднимали ни свет ни заря. Наоборот! Её холили и лелеяли, баловали, как единственное долгожданное дитя. Но Машенька знала, что мама, как бы поздно ни вернулась со смены в приёмном отделении городской больницы, неизменно встанет в шесть утра. Приготовит отцу его любимую овсяную кашу с изюмом и грецким орехом, посыплет корицей и поставит на стол. А папа выйдет из ванной, благоухающий одеколоном. И, прижимая рукой крохотный порез на свежесбритой щеке, будет вдыхать душистый пар от тарелки. И ждать, пока янтарный масляный круг подёрнется тонкой плёнкой – знак, что каша начинает остывать и можно приступить к завтраку. А мама будет сидеть напротив него, подперев рукой щеку, и улыбаться. И в тёмном морозном окне будет отражаться широкий рукав маминого халата и её тёплая рука с ямочкой на локте.

В мужней семье Машеньку тоже не неволили, давали понежиться – молодая ещё... Но по еле заметной усмешке в уголках запёкшихся свекровиных губ понимала Маша: свекровь засчитывает раннее пробуждение в плюс невестке. И Машенька старалась приглядываться, прислушиваться, принаравливаясь – впитывать ещё незнакомые устои новой семьи, символ которой нежно золотился на пальце. Девичество как-то быстро, но плавно уступило место *женству* – кротко, покорно и мягко Маша постигала науку замужества, словно пробудилось в ней извечное знание: женская сила в слабости. И она точно знала, что хочет вот так же, как мама,

проводить мужа на работу и чтобы уже её, Машенькина, тёплая рука отражалась в тёмном морозном окне.

Свекровь обронила как-то: «У Митеньки, сына моего, – и добавила, усмехнувшись, – мужа твоего, больной желудок, ему нужен только горячий завтрак, и с собой домашнее положить на работу, от столовской еды у него гастрит разыгрывается, а работает целый день до вечера».

И хотя Маша понимала: муж на работе не кирпичи таскает, а сидит в офисе перед компьютером, да и в любых кафешках сейчас готовят не хуже, чем дома, но мгновенно усвоила: домашнее – значит, сготовленное её руками. И – дана же была вековая женская мудрость девятнадцатилетней юной жене – мысленно поблагодарила свекровь: о крепком ладе печётся женщина, цементирует молодую семью, раз приучает сына к невесткиной стряпне.

И так же, как мама когда-то, ставила Машеньку перед мужем исходящую ароматным паром кашу, и пока тот ел, упаковывала еду на обед. Наливала в маленький термос куриный бульон. А потом перекладывала три куска белого хлеба отварной куриной грудкой и заворачивала в вощёную бумагу. И глядя на мужа – рот до ушей, молодая кожа светится румянцем, а глаза счастьем – улыбалась сама. И точно знала две вещи: сейчас в глубине родительской спальни сквозь полусон довольно улыбаются свёкор и свекровь. А когда муж выйдет из дома, а Маша, прильнув к окну, будет махать рукой в морозную синь, то на небе вспыхнет первая утренняя звезда. И свет её будет добрым, улыбочивым, обещающим счастье.

* * *

Не всё ль равно? Под всеми небесами
Какой-то мир мы выдумали сами
И жили в нём, в видениях, в мечтах,
Играя чувствами, которых не бывает,
Взыскав нежности, которой мир не знает,
Стремясь к бессмертию и падая во прах.

Марьям вставала засветло. Зимнее утро рождалось из синего мрака. В нём угадывались призрачные вершины гор. Они покачивались в небесах, как покачиваются мачты затонувших кораблей сквозь толщу океанской воды. И эти небеса, и эта вода были спокойны, темны и злы.

Марьям растирала опухшие пальцы рук и ног. Они немели за ночь, а кости ломило так, что казалось: они чудовищно распухают тоже. Каждое утро женщины начиналось с одного и того же ритуала – вверх-вниз вдоль каждого пальца, вверх ладонью по стопе, голени, пока немочь не сменялась ноющей сладкой болью. От неё хотелось постанывать и кричать. Боль – это хорошо. Это значит, что ноги будут чувствовать каждый выступ на выложенном камнем дворе, а руки – густоту и вязкость теста. Да что там – Марьям на ощупь поймёт, достаточно ли в тесте соли. За тридцать с лишним лет она научилась печь хлеб почти с закрытыми глазами.

Сегодня пятница – день выпечки хлеба. Марьям пекла его на неделю на всю семью из пятнадцати человек. Сорок-пятьдесят больших плоских лепешек. Да ещё несколько штук будут завернуты в отдельное полотенце – вдруг нежданные гости пожалуют.

Значит, надо встать чуть раньше, чем всегда. Хворост сам себя не нанесёт из сарая в маленькую клетушку, во мгле которой смутно белела печь. Низенькая, сложенная ещё дедом мужа, она и кормила, и лечила. Специальную глину для неё он таскал с илистого берега озера, смешивал с мелко раздробленной керамической крошкой (в ход шли разбитые тарелки, заварочные чайники, разломанный кафель), нарезанной соломой и козьей шерстью – она долго хранила тепло.

Марьям втащила в клеть сухие вишнёвые ветки, всунула их в жерло, чиркнула спичкой. Огонь заструился по бордовой коре, и терпкий дым наполнил пространство. Женщина погладила печку по белому, чуть поблёскивающему от керамической крошки боку. Вспомнила, как свекровь рассказывала:

– Большой мужчина (так свекровь называла своего свёкра) никому не разрешал входить в клеть, когда замешивал тесто для печи. Мы знали только, что он берёт большое корыто и кладет в него глину, солому, козью шерсть и черепки. А дальше он закрывал дверь и выходил из неё только тогда, когда печь уже была сложена и оставалось только побелить её, когда просохнет. Но даже побелку он не доверял нам, женщинам. Говорил: «Ваше дело – хлеб печь, а саму печь сложить – дело настоящих мужчин. Тут ювелирная работа нужна: если хоть какой-то огрех в постройке – хлеб будет подгорать или слишком долго румяниться». Правду говорил: такой печи, как он сложил, ни у кого в деревне не было – хлеб рождала мягкий, сытный, румяный, как солнце. На все сельские свадьбы и поминки только в нашей печи пекли.

Марьям придвинула ногой «хлебную ванну». Так назывался чан для замеса теста. Он уже был вымыт накануне. Из его бездонного чрева будут извлекаться колоба сырого теста. Марьям отмеряла заготовки безошибочно на глаз – все хлебы выходили у неё идеально ровными.

Годами наработанная физкультура. Размеренные взмахи рукой, и раз-два – над чаном поднялось жемчужное облако муки, три-четыре – тёплая вода пролилась в муку, пять-шесть – глухо шваркнулся кусок дрожжей, семь-восемь – тусклым слюдяным блеском сверкнула соль. И узловатые руки принялись творить чудо: вначале тяжело, словно разучивали незнакомый танец, двигались от стенок к центру, разминая, вымешивая, сжимая. Потом всё легче и легче, и вот уже шелковистая податливая масса бугрится в чане, ждёт огненного крещения в печи. Марьям смазывает тесто маслом, ещё раз играючи промешивает – тесто, как живое, дрожит и волнуется под её руками! – и накрывает чистой тканью. Пусть дойдёт в тишине и тепле, отдохнёт.

И сама Марьям отдохнёт, нальёт себе чаю и, прислонившись к уже горячему боку печи, вспомнит.

Первый её хлеб... Тонкими, неумелыми пальцами вымешивала она тесто, почти в три погибели согнувшись над чаном. И свекровь, глядя на неё, снисходительно улыбалась: что, мол, взять с восемнадцатилетней девчухи, какие её годы – научится...

– Смотри, сама в чан упадёшь, и кольцо с пальца спадёт: потом моего сына – своего мужа – будешь кормить, он о кольцо зуб сломает – рассердится! У нас мужчины горячие, сама знаешь, чуть что – гnevаются!

И свекровь смеётся, прикрыв рот рукой. И смех её добрый, и смотрит она на невестку с нежностью. И Марьям знает, что сейчас вместе с запахом сырого теста и дымом от вишнёвых веток летает в темной клетке счастье. Она действительно счастлива: ей повезло выйти замуж за любимого, и её любит родня мужа. Это бывает нечасто, но это даёт силы жить, это наполняет бессмертием: «люблю и любима», и так будет всегда, даже когда тела наши обратятся в прах, но души останутся любимыми и любящими, а значит, счастливыми...

Но вот тесто уже дошло, печь протоплена, как следует. Пора браться за хлеб. Сидя на паласе, Марьям кидает на низкий, в ладонь вышиной, деревянный столик первый колоб. Сплющивает его, раскатывает в лепёшку, покрывает яичным гляncем и остриями связанных птичьих перьев наносит узор – мелкие точки по кругу, словно звёзды на небосводе.

Теперь на широкую деревянную лопату – и в печь. И ждать. И как только синий небесный мрак озарится светом первой звезды, на лопату скользнёт румяное солнце! Марьям смажет его сливочным маслом и натрёт долькой чеснока. Отломит кусок полусонному младшему внуку, притопавшему на аромат. И улыбнётся! Первый хлеб нового дня – новой недели. Марьям знала: за тридцать с лишним лет первый хлеб из печи появлялся в ту же минуту, когда зажигалась утренняя звезда. Даже в самые мгlistые, снежные утра, когда небо и земля сливаются в еди-

ный осатанелый хаос, Марьям уверена: там, на востоке, под плотной пеленой туч, непременно восходит утренняя звезда.

* * *

Придёт декабрь... Озябшие, чужие,
Поймём ли мы, почувствуем впервые,
Что нас к себе никто не позовёт?
Что будет ёлка, ангел со звездой
И Дед Мороз с седой бородой,
Волшебный принц и коврик-самолёт.

Мария Евгеньевна зябко повела плечами и посмотрела на часы. Они показывали без шести минут семь. За окном занималось зимнее питерское утро, и воздух над Пряжкой был сизым от холода.

Марии Евгеньевне, всю жизнь проработавшей в театре костюмером, утро казалось необъятным чёрным плащом, в который летят серые стрелы рассвета. За пятьдесят лет работы женщина свыклась с театральными костюмами и относилась к ним почти как к носившим их персонажам. Она так и говорила: «Несу Машу Миронову», и все понимали, что Мария Евгеньевна спешит в чью-то гримёрку с платьем Капитанской дочки.

На возглас «Иду со Стюарт» надо было шире открыть двери гримёрки. Миниатюрной, коротко стриженной, седой старушки было почти не видно за огромным платьем шиллеровской героини.

Мария Евгеньевна говорила о себе: «Родилась в театре, живу в театре и уйду из театра». Гордилась тем, что родители – служащие театра – назвали её в честь одной из чеховских «Трёх сестер», а отчество совпадало с именем пушкинского героя. В этом Мария Евгеньевна видела промысел Божий – ей на роду было написано служение искусству. Только ему ли?.. Вся жизнь её была – служение.

Своя семья так и не появилась. «За давностью лет», – шутила Мария Евгеньевна, и Бог его знает, что таилось за этой шуткой... Сказалась давняя привычка быть скорой помощью для родителей, жилеткой для брата Миши, жалобной книгой для его жены и нянькой для племянников. Иногда она задумчиво изрекала: «Меня и родили для того, чтобы Мишенька не стал эгоистом». Но, судя по всему, Мишенька эгоистом стал, и немалым, потому что в первую половину жизни сваливал все проблемы на родителей. А те растерянно оборачивались на дочь: «Выручай, Манечка. Разряди ситуацию, подтяни Мишеньку по математике, литературе, биологии. А можно в этот раз на гастроли мы возьмём с собой Мишеньку? А тебя непременно в следующий раз! Бабушка болеет, её нельзя оставлять одну». И Манечка оставалась с бабушкой, и на гастроли с родителями ездил Мишенька и в этот, и в следующие разы, потому что так было надёжней и спокойней всем. На Манечку можно было опереться, как на скалу.

А во второй половине Мишенькиной жизни на Марию Евгеньевну так же растерянно оборачивалась Мишина жена: «Помоги, Манечка». И Манечка помогала, выручала, возвращала Мишеньку из бесконечных загулов в семью, стыдила взрослеющими детьми: «Все ведь уже понимают». А когда хрупкий мир в семье восстанавливался, виновато шептала обиженной невестке: «У нас в роду все мужики на передок слабы. Такая уж порода. Ты потерпи, а? Перебесится, поумнеет, а так он хороший и любит тебя и детей, сама знаешь».

Но Мишенька так и отошёл в мир иной неперебешенным и непоумневшим, и Манечка как нечто само собой разумеющееся взяла на себя заботу о его вдове и уже взрослых детях. Называлась она в ту пору уже Марией Евгеньевной, но по-прежнему легко носила своё миниа-

тюрное тело по раз и навсегда заведённому маршруту: дом-работа-магазины-рынок-снова дом. И потом уже с сумками, нагруженными пирогами, вареньями и разной другой снедью – к вдове брата, а от неё – к племянникам. Мишенькина вдова долго и слезливо жаловалась Манечке на непочтительных невесток и невоспитанных внуков. Манечка, как и прежде, успокаивала её: «Всё образуется, они хорошие, просто молодые ещё».

И ни разу в её миниатюрной голове, уже сменившей цвет с каштанового на седой, не возникла простая мысль: «А как же я? А как же моя жизнь?» Мысль эта просто не могла зародиться в мозгу, до отказа забитом заботой о близких, и не могла посетить изношенное любовью сердце.

– Ох! – вздохнула Мария Евгеньевна. Серые стрелы рассвета уже пронизывали чёрный плащ питерского утра. – Сегодня же 21-е. – Она перевела взгляд на отрывной календарь. – Татин день рождения. Хорошо, что в театре ёлки начинаются. Девчонки-костюмерши справятся, а я пирогов напеку с брусникой, черникой, грибами – и к своим, как только позвонят!

Тата была женой младшего, любимого племянника Марии Евгеньевны. Нет, конечно, она беззаветно любила и старшего, но младший с детства был болезненным, и Манечка терпеливо выхаживала его, дежурила у кровати, отпаивала целебными настоями, и громче всех радовалась, когда малыш шёл на поправку. Оттого и была привязана к нему чуть больше старшего: тот рос крепким, и за него Манечка не тревожилась так сильно.

– Нечего разлёживаться, – скомандовала она сама себе. – Вставай, матушка, умывайся-одевайся и тесто на пироги ставь. Скоро они позвонят, позовут, а у тебя ещё ничего не готово!

С недавних пор появилась у Марии Евгеньевны новая привычка: вслух сообщать самой себе о ближайших собственных планах. «Сейчас встану, пойду на кухню, покормлю кошку, поставлю чайник, потом в ванную, умоюсь, оденусь, сделаю зарядку, причешусь, позавтракаю, пойду на работу», и всё в таком же духе. Была ли эта привычка признаком старости или просто хотелось подбодрить себя и задать программу на целый день, Мария Евгеньевна не знала. Но от проговаривания вслух ближайших действий ей становилось легче.

Серая Дымка крутилась под ногами. Мария Евгеньевна поманила её за собой на кухню. За окном уже виднелись силуэты зданий – какие-то бесприютные, словно им тоже было зябко.

Дымка посмотрела в окно и вздыбила шерсть. Холод ей не нравился.

– Ну что поделать, Дымушка, – миролюбиво сказала женщина. – Зима есть зима. Переживём! – и, заметив ироничный кошачий взгляд: «Ты уверена?», рассмеялась.

– Конечно, переживём! Ну, ешь и не вертись под ногами, у меня дел полно.

Дымка меланхолично принялась жевать, а Мария Евгеньевна достала нарядный льняной фартук, расшитый петухами. Тесто на праздничные пироги надо творить только в красивой одежде и в хорошем настроении, тогда и выпечка будет лёгкой, как пух, вкусной и красивой.

...Давно исходили ягодным духом высокие румяные пироги и рулеты. Розовела в холодильнике селёдка под шубой. Мария Евгеньевна, принарядившись, сидела около телефона. Сытая Дымка причмокивала во сне. Телефон молчал.

Мария Евгеньевна задремала. Снились ей пёстрые весёлые сны: театральные костюмы, платья, шали, парики, веера, нарядная ёлка в родительском доме, Мишенька в костюме зайчика и она сама, крохотная, серьёзная, в костюме лисички. Папа в костюме Деда Мороза, раздающий подарки из мешка. Снова Мишенька-Зайчик, схвативший куклу в розовом платье – подарок для неё. И она, наверно, в первый и последний раз в жизни подравшаяся с Мишенькой из-за этой куклы. И мама, обнимающая зарёванных детей своими мягкими руками и приговаривающая: «Не надо, Манечка, плакать, отдай эту куклу Мишеньке, Дед Мороз новую тебе подарит, подарит, дарит...» Голос мамы уплывает, и сон распадается. И мгновенно новая картинка: опять театральные костюмы, Мишенька, племянники, работа, сумки, дорога, магазины, рынки, полные сумки, этажи, этажи, вверх-вниз. Жизнь...

И только нас на празднике не будет.
Холодный ветер безрадостно остудит
Усталую и медленную кровь.

Мария Евгеньевна вздрогнула. В дверь настойчиво звонили, словно пытались силой звука разорвать её. Телефон верещал. Дымка выла и материлась на кошачьем.

– Иду! – крикнула Манечка, и лёгкое её тело рванулось к двери.

– Ты почему так долго не открывала?! И трубку не поднимаешь! Мы уже тут не знали, что и думать! – Мишенькина вдова грузно ввалилась в прихожую и опустила на шкафчик для обуви. – Ох! Задохнулась, пока поднялась! Доведёшь ты меня до инфаркта! Дай воды хоть!

– А мы решили к вам прийти все вместе, справить мой день рождения у вас. Не против?!

В проёме двери различила Манечка фигуры племянников с жёнами, детей. Трое. Два мальчика у старшего племянника, двухлетняя девочка у младшего. Затуманившийся взгляд скользнул ниже и остановился на округлившейся талии Таты.

– Да что я стою, как вкопанная, вас морожу! Заходите, заходите, конечно, не против! Вы что! Такая радость для меня! А у меня уже всё готово, пирогов напекла! Ой, Дымку держите, а то убежит, нахалка! Вечно пытается в открытую дверь сбежать. Заходите.

– Бая Мая, а я к тебе, – с достоинством пробасила двухлетняя Лада. Мальчишки уже давно проскочили в комнату, погнались за Дымкой.

– Да, ты ж моя золотая! Ладушка! Любовь моя! – Манечка подхватила девчушку на руки, закружила.

– Да угомонись ты, – добродушно ворчала невестка. – Восьмой десяток разменяла, а крутишься как юла! Должна же быть у человека хоть капля солидности!

– Нашей бабе Мане солидность ни к чему, – хохотнул старший племянник. – Она у нас как утренняя звезда – вечно юная!

Мария Евгеньевна не слышала этих слов. Она кружила Ладку по комнате, и девчушка заливалась смехом. В окно дома виднелась бледная звезда, не погасшая с утра. Ей, видно, очень хотелось отразиться в оконном стекле, но то было почти полностью залеплено снегом, и звезде пришлось отразиться лишь в тонком льду Пряжки.

...И будет снег над городом кружиться,
И, может быть, нам... наша жизнь приснится,
Как снится нам последняя любовь.²

² Фрагмент стихотворения поэта Серебряного века Дона Аминадо (Аминада Петровича Шполянского).

Слово о свекрови

*Не ищите, не ждите возврата,
Не смущайтесь насмешкою злой.
Человечество всё же богато
Лишь порукой добра круговой.*

Стихотворение неизвестной монахини Новодевичьего монастыря

Боже мой, какое счастье – тишина! Лиля никогда не думала, что эта мысль будет посещать её всё чаще. Она всегда была сгустком кипучей энергии, её жизнь неслась в темпе «очень живо», частенько переходя в «presto» – стремительно... С годами это «частенько» исчезло, и жизнь тупо выплясывала какую-то бешеную тарантеллу. Лиля любила читать перед сном – ей нравился мягкий свет бра, подарка свекрови на свадьбу, с сетчатым фарфоровым плафоном. Он уже был поломан в нескольких местах; бирюзовый, с лёгкой позолотой рисунок почти стёрся, но Лиля не решалась заменить его на новый. Близкие вначале уговаривали её, твердя, что поломанные вещи в доме не держат, что это не к добру. Уговоры сменились насмешками и уверениями, что такие светильники освещали ещё первобытные пещеры. Лиля парировала мягко и упорно. К вещам она привязана не была и, более того, опасалась такой привязанности как признака старости. Но к этому бра испытывала странное чувство – нечто среднее между болезненной слабостью и жалостью. Так обычно относятся к увечному или очень старому человеку в семье – сострадание пополам с нежностью.

Но в последнее время даже на эту нежность не оставалось сил. В бра всё реже загорался свет – Лиля падала в кровать и мгновенно засыпала. И всё больше жизнь казалась ей огромным унитазом, куда сливались без разбору её будни и праздники, месяцы и годы. Даже собственное имя казалось ей уже слишком фривольным. Лиля, Лилечка, Лилея – так когда-то звали её родители, когда Лиля была пухленькой малышкой с яркими щёчками и смеющимися глазами. Круглые щёчки превратились в две продольные скорбные складки, смеющиеся глаза стали напряжёнными, а лоб украсила сеточка морщин. Такая вот нехитрая геометрия была у природы, по большому счёту ничего особенного, но весеннее имя Лиля как-то само собой сменилось солидным Лилия Константиновна. И солидной Лилии Константиновне все больше хотелось тишины и покоя, чтобы можно было просто вздохнуть и собраться с мыслями.

А поразмыслить было о чём. Как говорится, «земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу». Лесом, конечно, Лилину жизнь не назовёшь: всё же – дипломированный специалист, с двумя «вышками» – филолог и психолог, боец педагогического фронта, переводчик с трёх языков, кандидат филологических наук, жена и мать. Три девочки – старшая шестнадцати лет и десятилетние близняшки. И муж, четвёртый ребенок, пятидесяти двух лет. С детьми долго не получалось, супруги почти потеряли надежду, но в 34 года Лиля родила первую, а через шесть лет ещё двух.

Однако райским садом такую жизнь тоже сложно назвать. Оглядеться назад – можно сказать одной фразой: «Глаза страшатся, а руки делают». Лилию подчас бросало в дрожь при воспоминании о середине девяностых. Дети были маленькими, и они с мужем-инженером работали как оглашенные на двух работах. А вечерами Лиля со свекровью пекла сладкие кексы и пирожки с ливером и картошкой, чтобы к семи утра успеть отвезти их в буфет ближайшей школы. За выпечку директор школы платил им нормально, она разлеталась мгновенно, но труда и продуктов требовала немало. Лиля вспоминала, как засыпала в начале четвёртого, просыпалась в половине седьмого, сдавала выпечку в школу, бежала на работу, после работы на рынок, потом домой и так всё по кругу. Но усталости не было. На всё были силы, находи-

лось время и желание шить себе обновки, завивать кудри, носить каблуки и висячие серьги, успевать на выставки и концерты, танцевать и любить.

Девяностые миновали, как спутанный сон. Но по пробуждению Лиля обнаружила, что свекровь так и осталась во сне... Худощавая, тихая женщина с улыбающимися глазами...

Ничего общего с обывательским понятием «свекровь», как чего-то монстроподобного, она не имела. Наоборот, осталась в памяти Лили воплощением деликатности и какой-то старинной изысканной интеллигентности. И дело было вовсе не в том, что свекровь знала в совершенстве французский и итальянский и была специалистом по искусству раннего Возрождения, словно заведомо парила в эмпиреях. Вовсе не в этом. Просто свекровь обладала каким-то нутряным сознанием того, что делать можно, а что нельзя. Она никогда не входила в комнату внучек без стука, а если у тех собирались маленькие подружки, то вообще превращалась почти в тень. Осторожно постучится, невесомо пройдёт к столу, поставит поднос с чаем и пирожками, приветливо улыбнётся и так же невесомо растворится. На ошарашенное хлопанье глазами юного племени отвечала просто и кротко:

– Гостю честь и место. Если у тебя гости, так им надо внимание уделить, а не в кухне возиться. А мне нетрудно и приятно. Пирожки-то понравились?

Вопрос был излишним. Блюдо опустошалось молниеносно, а в глазах внучкиных подружек надолго застывало выражение изумления и тоскливой зависти: «Нам бы такую бабушку!»

Лиля не помнила, чтобы хоть раз к приходу после работы её не ждал накрытый стол на кухне. Снедь была нехитрая – суп, котлетка с пюре или вермишелью, зелень. Но свекровь умела оформить это так, будто накрывала стол в Версале. Льняная серая скатерть с красной прошивкой, фарфоровые тарелки, салфетки. Свекровь не признавала клеёнок, суп подавала, несмотря на все смешки и уговоры, только в супнице. Даже для горчицы у неё находилась пузатая фарфоровая баночка с крышкой в виде головы льва.

– Мама, зачем всё это? Зачем этот пафос, когда мы едим котлеты из кильки, даже курятина нам не по карману? – иногда срывался сын. – Тебе своих рук не жалко или Лилькиных – все эти скатерти-салфетки стирать?

– Будет день, будет и пища, – с улыбкой, но твёрдо отвечала мать, и верилось: она знает что-то такое, для чего будут уместны и нарядная яркая скатерть, и крахмальные салфетки, и фарфоровая посуда.

Со свекровью прозрачными и ясными становились неписанные правила житейского бытия. Именно она ненавязчиво учила Лилу, что, идя в поликлинику или в какую-нибудь контору, хорошо бы захватить маленькую шоколадку для секретарши или регистраторши. «Тебе это не составит труда, а человеку приятно». Именно она просто объясняла, что при встрече с людьми надо улыбаться и непременно спрашивать, как у них дела, как дети, и участливо выслушивать ответы. «Всегда приятно сделать что-нибудь хорошее».

На все возмущенные речи родных свекровь отвечала тихо, но твёрдо:

– Так меня учили. «Ничто так дешево не стоит и так дорого не ценится, как вежливость».

Фраза Сервантеса, растиражированная в любом хлебном магазине, звучала в устах свекрови искренне и легко. Щепетильность была её забралом, внутренним стержнем и девизом.

Свекровь никогда не забывала дни рождения родственников и друзей. Каждая доживающая свой век бабулька могла быть уверена, что в забытый Богом и родными день рождения её непременно поздравят. Неважно, что именинница или именинник зачастую сами не помнили о нём, а поздравление достигало их слуха и разума сквозь толщу старческих болячек. Суть была в том, что вспомнили, поздравили, и ещё долго глаза стариков увлажнялись нечаянной радостью.

Лиля никогда не называла свекровь «мамой». Всегда по имени-отчеству – Анастасия Владимировна. Собственной матери она лишилась рано, у отца давно уже была другая семья, но Лиля крепко вбила себе в голову, что мать у человека может быть только одна. А свекровь

ни разу не намекнула, не заметила невестке, что ей приятно было бы обращение «мама». Раз по имени-отчеству, значит, так тому и быть. Деликатность превыше всего.

Свекровь любила цветы. Весь балкон был уставлен вазонами и кадками. Между ними надо было маневрировать, это было утомительно, но свекровь ухаживала за своими зелёными питомцами трепетно, и они благодарили её пышным цветением.

Больше всего любила она крупные королевские нарциссы с их ненавязчивым травяным ароматом и очень сокрушалась, что в день её рождения, 14-го декабря, они ещё не цветут. Но сокрушалась как-то тоже тихо, деликатно – погладит узкой ладошкой проклюнувшиеся побеги в вазонах, вздохнёт и всё. А выгонку считала варварством – издевательством над природой. «Всё должно быть вовремя, в свой срок, в свой час, тогда и тебе приятно, и живому не во вред», – приговаривала она.

– Ты присмотри за ним, – однажды тихо обратилась свекровь к Лиле, и зеленоватые глаза её, обычно улыбающиеся, стали печальными. Словно засветилось бирюзовое фарфоровое бра.

– За кем? – не поняла Лиля.

– За мужем своим, – кротко пояснила свекровь. – За моим сыном.

– А что такое? – недоумевала Лиля.

– Понимаешь, нет в нём ярости. Мужчина должен быть иногда яростным, страстным, бешеным. В разумных пределах, конечно, но – должен. Я растила его одна, возможно, поэтому он такой...

– Какой?

В глазах свекрови мелькнула беспомощность.

– Ведомый. Не оставляй его, хорошо? Не возмущайся, я знаю, что ты скажешь. Но женщине слабость к лицу, она может быть ведомой, а мужчина нет. А у вас наоборот. У тебя всё получится, а он растеряется. Не оставляй его.

– Да куда я денусь, – попробовала отшутиться Лиля. – Анастасия Владимировна, с чего вы это?..

Но свекровь слабо махнула рукой и прикрыла глаза. Когда она вновь открыла их, выражение было обычным, улыбающимся.

Через неделю свекрови не стало. Муж плакал так, что Лиле отчётливо стало ясно: больше никто и никогда не будет любить и жалеть его так, как мама. Поняла она это сразу, без горечи и обиды. Со свекровью из их дома навсегда ушло что-то очень хрупкое, скромное и деликатное.

Поминки неожиданно выявили, как свекровь любили и уважали на работе. Пришла уйма бывших коллег и студентов, все говорили о глубоких знаниях и огромном человеческом даре Анастасии Владимировны – проявить участие к каждому.

– Золото, а не человек, – трубно всхлипывал необъятного размера мужчина, давний сослуживец свекрови. – Сейчас таких не делают. Сердце хрустальное...

– Мам... – пауза для воспоминаний была нарушена. На пороге стояла одна из близняшек. – А пожевать есть чего?

– Возьми в холодильнике, – машинально пробормотала Лиля. – Сыр, колбаса, овощи.

– Не хочу холодное, – скривилась дочь. – И без того зима.

– Сейчас разогрею котлеты, мой руки. – Лиля отправилась на кухню.

На стене висел календарь. Лиля улыбнулась. Ещё одна память о свекрови. Она всегда запасалась такими календарями к Новому году. Находила особые, с репродукциями картин мастеров Возрождения, и на все протесты близких, мол, старомодно и выглядит нелепо в современном дизайне, отвечала:

– Ну, это просто такая красота была, что я не могла пройти мимо. Посмотрите, какая печать, как хорошо переданы краски.

Сейчас эта традиция – вешать на стену календарь – осталась лёгкой горчинкой в памяти.

– Отстань! – сердито выкрикнула старшая одной из близняшек. – Не видишь, у меня настроения нет.

– А что такое? – съехидничала сестра. – Ах, да, я забыла, сегодня же тринадцатое, правда, вторник!

– Тебе какое дело? – огрызнулась та. – Хоть среда!

«Значит, завтра четырнадцатое, – обожгло Лилию. – Надо бы на кладбище съездить».

Она разогрела котлеты, позвала детей ужинать. Старшая отказалась, вбила в голову, что ей надо худеть и грызла яблоко. Муж дремал перед телевизором. Лилия осторожно тронула его за плечо.

– Завтра четырнадцатое. На кладбище заехать бы...

– Не смогу никак, дел по горло, – муж помолчал минуту, будто что-то решая, и снова прибавил: – Нет, никак не получится.

Он просительно заглянул ей в глаза:

– Может, ты сама, а? И от меня цветы положи, пожалуйста. Я как-нибудь в другой раз. Мёртвые ведь не обижаются? Ну не могу я.

– Конечно, положу, – улыбнулась Лилия. – Конечно, не обижаются.

...Она несла в руках восемь маленьких белых гвоздик. Было холодно, Лилия прижимала цветы к пальто и старалась согреть дыханием, но они всё равно заиндевели и напоминали испуганных балерин в кружевных пачках.

– Здравствуй, мама, – вдруг как-то само собой просто сказала женщина и опустилась перед небольшим серым камнем. – С днём рождения, – она положила цветы на землю и вздрогнула.

Из сизовато-седой от мороза, каменной земли торчали стрелки королевских нарциссов. Луковицы высадили сразу после ухода свекрови, они расцветали, как положено, каждую весну, но чтобы сейчас, в декабре?! Лилия не верила собственным глазам. Но почти каждая тёмно-зелёная стрелка была увенчана победным тугим бутонem.

– Мама? – полувопросительно прошептала Лилия, и горло её сжалось.

Солнце прорезало плотное мглистое небо, несмело скользнуло по земле и легло на руку женщины.

В этот день впервые за много лет у Лили было спокойно на душе. Не то чтобы тревоги отступили, они, кажется, были ей приписаны навечно, но появилось что-то такое, от чего верилось: всё непременно будет хорошо, всё исполнится в свой срок, в свой час.

– Положила цветы от меня? – голос мужа звучал виновато и устало.

Лилия оторвала взгляд от книги. Бирюзовое бра отбрасывало мягкую тень, и женщина даже поёжилась от удовольствия. Боже, какое это удовольствие – читать перед сном в кровати!

– Да. Ты представляешь, у неё на могиле распускаются королевские нарциссы!

– Не может быть! В декабре?!

– А по-моему, ничего удивительного. Мама столько отдала нам тепла при жизни, что оно согрело даже землю.

– Мудришь ты что-то. Скажи ещё – соблюдается закон сохранения энергии.

– Называй, как хочешь. А по мне просто круговая порука добра. Иначе и быть не могло. Мама знала об этом.

Неловкость

*Совесть ночью, во время бессонницы,
несомненно, изобретена.
Потому что с собой поссориться
можно только в ночи без сна.
Потому что ломается спица
у той пряжи, что вяжет судьбу.
Потому что, когда не спится,
и в душе находишь судьбу.*

Борис Слуцкий

Вечное качество интеллигента – испытывать неловкость в любой щекотливой ситуации не оставляло его. Кажется, это называется «испанский стыд» – сделал неблагоприятное кто-то другой, а стыдно тебе.

Но почему именно к этому случаю – Господи, уже 35-летней давности – так настойчиво, так упорно возвращалась его память? Словно на какое-то время она перестала быть волшебным орудием человеческого мозга, а превратилась в мясорубку с застрявшим куском жилистого мяса. Мясорубку заклинило – и ни туда, и ни сюда, точно так же заклинило и его память. С дьявольской услужливостью она поставляла издёрганному сознанию один и тот же давний эпизод.

И знала же, проклятая, когда нападать. Всегда в один и тот же час – в половине четвёртого утра. Как заведённый, открывал он глаза и продолжал лежать в постели, с недавнего времени одинокой. Подруга жизни, как высокопарно называли жену в старинных пьесах, покинула его и этот мир. Они прожили вместе 36 лет, вырастили двух успешных сыновей, обзавелись внуками. Сыновья поочередно звали его к себе после смерти матери, но менять привычки в старости трудно. Не то чтобы боль утраты сильно жгла его: жена давно болела, и он привык к её болезни так же, как привык к ней самой. Но оставить дом, где всё было ему знакомо, и главное – где он был хозяином – он не мог. К счастью, немощь ещё не одолевала, и в посторонней помощи он не нуждался.

К тому же хозяйствовал он исправно. Дом не приобрёл сиротливого облика, как это обычно бывает после ухода хозяйки, наоборот, в нём по-прежнему приветливо светились чистые окна за цветными занавесками, и пахло тёплым живым духом.

Всё было бы ничего, если бы не заклинившая в половине четвёртого утра память. Хотя, в принципе, и это объяснимо. Одиночество пожилого человека, бессонница, ночная тишина, не с кем словом перемолвиться – вот и лезут в голову разные мысли. Но отчего именно эта, что не так он сделал в тот ноябрьский день, 35 лет назад?..

Он, тогда ещё не солидный, обрюзгший Мстислав Ильич, а просто Славик жил в коммунальной квартире и работал в редакции крупного литературного журнала. Жаль, что древние греки не придумали музу журналистики: Славик творил явно под её благосклонным взором. Он был, что называется, подающим большие надежды и восходящей звездой эссеистики. Старшие коллеги отмечали его литой «римский» слог и деликатную манеру повествования, наперебой хвалили и каламбурили, что «Слава составит славу отечественной журналистики».

Был среди его знакомых некий Марк Эльдарович Роскин. Вот с него-то, пожалуй, и началась вся эта история.

Это был приземистый, добродушный толстячок с настоящим брабантским брюшком. Славик за глаза даже называл его Ламме Гудзаком – так разительно было сходство Роскина с неунывающим героем Костера. Прибавьте к этому карие весёлые глазки, пухлую инжирину носа, толстые щёки, усыпанные веснушками, и перед вами истинный маленький фламандец.

И только волосы, некогда рыжеватые и густые, стали сейчас снежно-белыми и лёгкими, как пух. Они не поредели, но словно утратили былую плотность и теперь трепетали от каждого порыва ветра. Это придавало облику толстячка воздушность, и, глядя на него, хотелось улыбаться. Марк Эльдарович излучал радость, хорошее настроение, а такие люди – редкость во все времена.

Помимо внешности и жизнелюбия он обладал ещё одним потрясающим даром – умел великолепно, обаятельно и живо рассказывать о людях, с которыми его свела судьба. Этот дар, пожалуй, был особенно ценным для Славика. Именно в таких феерических, полных искренней любви рассказах черпал он материалы для своих эссе. И, надо признаться, никогда не забывал поблагодарить старика. А тот...

Тот прямо расцветал от похвал и сыпал, бросал, кидал к перу Славика роскошные букеты своего вдохновения. Рассказчиком Роскин был отменным, под стать Ираклию Андроникову, чьё мастерство стало легендой.

Заводил он, к примеру, разговор о какой-то давно умершей актрисе:

– Ах! – вначале следовал полувздых-полупауза, и маленькие глаза прикрывались, веки подрагивали. Перед внутренним взором рассказчика, вероятно, возникала героиня самозабвенного монолога.

Затем откуда-то из глубин серого пиджачка к слушателю вытягивалась пухленькая ладошка лодочкой. Она выражала безмерную скорбь по поводу рано ушедшего таланта.

– Дорогой мой! – пауза, наконец, прерывалась. – Если бы вы только знали, что эта была за женщина! Колдовство, магия, богиня! Любые эпитеты будут жалки! Человеческий язык груб и тёмен, в нём нет слов, чтобы описать её! Она была музыкой, феей света, чудом! Каждый жест её был лучезарен, походка летящей, голос волшебным. Когда она играла Джульетту!.. Боже! В 42 года играть Джульетту и сделать так, чтобы зритель поверил в твою невинность, чистоту, прелесть, в твои 14 лет! Чтобы он забыл о морщинках на твоём лице и уже не девической талии! Что это? – Марк Эльдарович подпрыгивал на толстеньких ножках и всплёскивал руками. – Что это, я вас спрашиваю? Что это как не дар Божий, великий талант? А сколько грации, обаяния, изыска, ах!

И из глаз Ламме Гудзака лились непритворные слёзы. В эти секунды Славик думал, что надпись «незабвенным» на лентах к похоронным венкам не только красивые слова и что есть люди, в памяти которых любимые люди всегда живы.

И так же волшебным и «вкусно» Марк Эльдарович умел «обставить» любое своё повествование. Если он говорил об известном поваре, то от названий блюд, казалось, исходил аромат и слушатель нетерпеливо сглатывал слюну. Если о музыке, то в голосе его плакала скрипка и глухо звучал тромбон. Он не рассказывал, а разворачивал действие, как разворачивают военные знамёна и начинают наступление. Победителем в этой войне был неизменно он, а побеждённый чувствовал себя счастливейшим из смертных. Где и когда ещё удастся услышать столь вдохновенные речи?!

Иногда старик утомлялся и начинал рассказывать о том, как во время его юности одевались женщины, какой трамвай шёл от Шестнадцатой Завокзальной к центру города и какой на балконах рос виноград – сорт «дамские пальчики», «такой же нежный и вкусный, как они!» При этих словах он подмигивал Славику, но тому вдруг становилось грустно. А отчего, он и сам не знал. Вероятнее всего, всё дело было в белых пуховых волосах Ламме Гудзака. Они были похожи на облако и так не вязались с земным жизнелюбием их хозяина. И в эти минуты пронзала мысль: недолго ещё упиваться роскошью живого рассказа, надо ловить бесценные мгновения!

– Тома-а-а, – кричал старик жене. – Томочка, чаю бы нам! – голос сразу становился визгливым: так старик уравнивал полёт вдохновения с обыденностью.

Появлялась Тамара Ефимовна, худенькая, очень белокожая женщина. Она сосредоточенно несла перед собой поднос с чаем и печеньями, и в каждом её движении была забота и тревога: всё ли в порядке, хорошо ли её неугомонному Ламме?

Но Ламме был доволен, он витиевато и изысканно благодарил её, и она так же церемонно отвечала, чуть склонив голову набок. И Славику казалось, что всё в этом доме подчинено законам какой-то неведомой пьесы, и она не прискучивает ни исполнителям, ни зрителям.

Однажды старик так воодушевленно рассказывал о каком-то поэте, что Славика осенила идея.

– А что, если вы сами напишете о нём воспоминания?! Правда, Марк Эльдарович! В декабре юбилей со дня его рождения, журнал отметит это непременно. Напишите, это будет, так сказать, материал из первых рук. Одно дело – кто-то другой пишет о нём с ваших слов, а другое дело вы – современник, личный знакомый. Это же здорово!

– Во-первых, не кто-то, а вы, Славушка, – старик перегнулся вдвое и метнул на него быстрый взгляд. Но в позе его не было угодливости, жалкой в пожилых людях; скорее – почтение с лёгкой хитрецой.

– Вы, вы! – добавил он решительно, и глаза его озорно вспыхнули. – Вы у нас блестящий эссеист, и я буду счастлив, если на моём могильном камне напишут: «Он был другом Мстислава Горчева», а люди будут тихо спрашивать: «Неужели самого Горчева?!» и с уважением озираются на мою пыльную могилу!

– Польщён, – шаркнул ножкой Славик, – но, ради Бога, оставим в покое пыльные могилы, и вернёмся к журналу. Смотрите, Марк Эльдарович, вы уже расстроили жену, она чуть не плачет.

И правда, глаза верной подруги Ламме наливались слезами, а выражение лица становилось совсем детским. Она не могла слышать даже шутливых разговоров о смерти. Обожаемый Марик был для неё всем: мужем, ребёнком, другом. Единственный их сын умер мальчиком в войну, и больше детей у них не было.

– Сам не знает, что городит, – ворчала женщина, – ему только меня бы дразнить.

– Марк Эльдарович, напишите, а? – уже серьёзно просил Славик. – Поверьте, это будет грандиозно с вашим-то талантом. Вы только оформите всё на бумаге, а я передам главному редактору. Я ему все уши прожужжал о ваших рассказах. Он будет счастлив опубликовать вас. А я почту за честь лично вручить вам номер журнала. Миленький, пожалуйста!

– Вы уверены? – Лицо Ламме Гудзака приняло непривычное тревожное выражение. – Вы думаете, у меня получится?

Славик искренне удивился.

– А чего тут уметь с вашим мастерством?! Просто перенесите всё на бумагу и отдайте мне.

Старик колебался и о чём-то напряжённо думал. Потом принял прежний вид и беззаботно махнул рукой.

– Была не была! Напишу!

Дальше всё происходило словно во сне. Покатилась череда каких-то неотложных дел, прошёл сентябрь, октябрь, ноябрь перевалил за половину. И только когда редактор напомнил ему об обещанном материале на декабрь, Славик хлопнул себя по лбу и отправился к Роскиным.

Как ни упрашивала его добрейшая Тамара Ефимовна пообедать или хотя бы выпить чаю, как бурно ни радовался сам хозяин, Славик наотрез отказался задержаться. Ноябрьские сумерки наступали быстро, и надо было ещё успеть заскочить в несколько мест. Он, не глядя, схватил рукопись, свернул её и так же свёрнутой передал редактору.

Редактор обещал дать ответ через три дня. Но будь она неладна – эта бешеная круговерть дней и дел, когда не помнишь себя от усталости, когда превращаешься в механизм, которому

надо выполнить и то, и это, и третье, и ни в коем случае ничего не упустить из виду! И вроде бы везде успеваешь, а потом оказывается, что упустил крохотное мгновение, когда можно было бы не совершить роковой ошибки. Но мгновение упущено, и уже ничего не поправить. Славик напрочь забыл спросить редактора о рукописи, а тот и не заводил разговора.

Утром 28 ноября ему позвонила Тамара Ефимовна и тихим голосом попросила зайти.

– Нет-нет, ничего не случилось, – уверяла она его, – просто Марку Эльдаровичу нездоровится, а он так хотел бы вас видеть.

Как только Славик пересёк порог гостеприимного дома, ему стало ясно, что произошло что-то тяжкое. Так бывает, когда в цветущий садовый куст вдруг въезжает, к примеру, газонкосилка и ломает его. На земле валяются растерзанные грязные цветы, оборванные листья, стебли. Куст ещё живой, корни не повреждены, но от бывшего великолепия нет и следа.

– Что случилось, Тамара Ефимовна? – шёпотом спросил Славик. Женщина бодрилась, хотела что-то сказать, но губы её задрожали. Она только махнула рукой и беззвучно заплакала.

– Тома-а-а, – послышался надтреснутый голос. – Я тебе запрещаю плакать, слышишь? В конце концов, сам виноват. Славик пришёл?

– Вы не заходили, – торопливо заговорила Тамара Ефимовна, – а Марик, ну вы же знаете, какой он ребёнок, ему интересно было, что скажут о его рукописи, и он выведал адрес и сам пошёл в редакцию. Я толком не знаю, что там было, но вернулся он весь зелёный. На нём лица не было. Молча бросил рукопись на стол, лёг в постель и с тех пор не встаёт. Уже восемь дней. Спрашиваешь, что болит – говорит: ничего. Но сам тает, я же вижу. Ему плохо, а он мне улыбается, ласточка моя... – у неё опять задрожал подбородок.

– Ну, не надо, Тамара Ефимовна, прошу вас. Это просто недоразумение какое-то, сейчас разберёмся. Я к нему пройду, можно?

Перемена в Марке Эльдаровиче была разительная. Из добродушного Ламме Гудзака выкачали воздух, силы, улыбку. На маленькой, почти детской кровати едва возвышался он, жалкий, сдувшийся, как воздушный шар. Даже белый пушок на голове казался приклеенным и серым.

– А, Славочка, здравствуйте. Нечасто нас посещает Слава! – Ламме ещё пытался шутить. – Да, всё в порядке со мной – он поморщился на безмолвный вопрос. – Это женщины вечно все преувеличивают.

– Нет, – запротестовала жена. – Славик, может, я и ничего не понимаю, но он вернулся сам не свой из редакции. Ему сказали, что это всё чушь и ерунда, что такие рукописи близко к журналу нельзя подпускать. А по-моему, написано замечательно, я читала и плакала от восхищения. Посмотрите вы, как профессионал; ну, может быть, там есть какие-то грамматические ошибки, человек-то уже немолодой, но главное ведь суть! А буквы-запятые выправить всегда можно. Зачем же человека так обижать?! – из глаз её посыпались слёзы.

– Ласточка моя, – донёсся с кровати вздох. – Слава, скажите ей, чтобы не плакала, не могу я это слышать.

– Хорошо, вы только не волнуйтесь. Можно мне посмотреть рукопись?

Пробежав глазами несколько строк, Славик закусил губу и прошёл к окну, словно ему не хватало света. Стоя лицом к окну, ему было легче скрывать свои эмоции.

То, что он читал, было чудовищно. Поразительно бездарно и пошло. Славик подумал, что главный редактор, конечно, хам и невежа, раз наговорил невесте что пожилому человеку, но уж в отсутствии профессионализма его не обвинишь. Всё, что в устных рассказах сияло, искрилось, переливалось всеми красками, на бумаге стало мёртвым, тусклым и банальным. Куда-то испарились яркие сочные образы, сравнения, артистичность, особый язык, придававший рассказу вкус, цвет, запах, трепет самой жизни.

Умерли изящество и душевность речи. Умер – во второй раз! – сам герой эссе – звонкий, весёлый поэт, чьи стихи были наполнены светом и воздухом. Он умер, раздавленный бес-

конечными «ибо; следует подчеркнуть; необходимо отметить; из вышеизложенного следует; беспощадная смерть вырвала из наших рядов одного из представителей поэтического стана» и прочими монстрами канцелярского стиля.

Славик читал и поражался. Неужели возможно, чтобы человек с таким светлым даром устного рассказа оказался настолько беспомощным на бумаге?.. Увы, видимо, да.

На душе у него стало скверно; он не решался повернуться.

Но маленькая пожилая женщина, любящая ласточка, не выдержала:

– Ну, как? – прервала она молчание. – Не правда ли, чудо как хорошо?! Скажите же, Славик, мы только вам и верим!

Что он мог сказать им, двум парам напряжённых глаз, с надеждой глядящих на него?..

– По-моему, написано превосходно, – пробормотал он. – Очень художественно, ярко.

Тамара Ефимовна просияла:

– А я что говорю! Простите меня, Славочка, но ваш редактор просто хам и дурак. Он ничего не понимает. Боже, какое счастье, что вы пришли. Что значит, настоящий специалист! Марик, ты слышал? У тебя превосходная статья! Это Славик сказал. Нет, и не просите, я вас никуда без обеда не отпущу!

И мгновенно был накрыт стол, и сухонькие ручки её летали над скатертью, выкладывая тарелки с немудрёной закуской. И хозяйева говорили без умолку, подкладывали ему самые вкусные куски и поднимали рюмки с наливкой за «славу отечественной журналистики», а ему было неловко, стыдно и гадко на душе.

– Так мы можем на вас надеяться? – Тамара Ефимовна говорила непривычно властно и быстро, словно боялась, что её прервут. – Я всё понимаю, Славик, вы подчинены вашему главреду, этому хаму, но вы не маленький человек в редакции, он обязан прислушаться к вашему мнению. Боже, и как таких людей только держат на работе? Скажите ему всё, что вы думаете о рукописи Марика, и пусть он печатает её без разговоров! Я правильно говорю?! Марик, ну скажи хоть слово!

Марк Эльдарович смотрел на него, и трудно было сказать, чего больше в этом взгляде... Мольба, надежда или тень страшного прозрения – он бездарен на бумаге?.. Страх? Отчаяние?

Нет! Снова мольба, снова надежда в круглых карих глазках. И пушок на голове вновь побелел. Ламме Гудзак возвращается!

Славик собрался с духом:

– Да, я поговорю с редактором. Всё будет хорошо. Он, наверно, просто, не вчитался. Но вообще, он грамотный человек, – защитил коллегу журналист.

– И слушать ничего не хочу! – возмутилась Тамара Ефимовна. – Просто вы, Славик, очень хороший человек и не хотите никому причинить вреда. Но ваш главный редактор – спесивый дундук!

– Ласточка, – опять вздохнул Марк Эльдарович. Он чему-то улыбался и скатывал из хлебного мякиша шарик. Пальцы у него были совсем белые и какие-то плоские. – Ласточка, – повторил он почти шёпотом.

Славик бегом скатился по лестнице. Оборачиваться ему не хотелось – очень трудно обернуться на людей, которые приветливо машут тебе вслед и знать, что обманешь их.

С редактором он, конечно, не поговорил. Да тот и не стал бы слушать – не о чем было говорить.

Статью в юбилейный номер он не написал. Не смог.

И, конечно, больше он никогда не бывал в гостеприимном доме Роскиных.

Он не подходил к телефону, а дома и в редакции попросил, чтобы всем говорили, будто он в командировке.

Ему передавали, что два раза кто-то звонил и тихим старческим голосом просил к телефону Мстислава Горчева, но перезвонить он так и не решился.

А потом, к счастью, опять закрутила-завертела жизнь, и дом Роскиных вместе со своими хозяевами отплыл в чёрные льды памяти. Он вспоминал о них всё реже и реже и, вспоминая, оправдывал себя. И действительно, что ему оставалось делать? Лишить стариков надежды? Или отстаивать галиматью перед редактором?

Нет, ничего он не мог сделать. Но отчего все тридцать пять лет эта история не даёт ему покоя? Отчего терзает его в этот глухой предутренний час, когда душа легче всего устремляется в небо?

Зайди он через три дня в редакцию, заberi сам рукопись, всё бы обошлось. Уж он-то бы нашёл нужные слова, и никто не был бы в обиде.

Но, видно, так устроена жизнь. Словно кошачья лапа, она то гладит тебя, то впиивается когтями. Может быть, просто для того, чтобы дать почувствовать – ты ещё живой.

А может, и ещё для чего-то...

Музыка осени

Низкорослый полный человек запер за собой дверь в лавку и остановился на пороге. На него дохнуло нежилым духом полуподвального помещения. Кое-где в углах виднелись разводы от сырости. Повсюду были навалены коробки, мешки, пакеты. Свёрнутые в рулоны ковры валялись, как брёвна. От них пахло тёплым и душным запахом шерсти и керосина. Но в этом хаосе человек чувствовал себя лучше, чем дома. По сути, он и домой приходил только спать.

Это был очень смуглый и, судя по облику, очень уставший человек. Усталость разлита была в обмякшей фигуре: чёрная футболка обрисовывала вислый живот и складки жира на спине. Обувь была сильно потёрта и стоптана с внешней стороны: при ходьбе он косолапил, и к вечеру ноги наливались свинцом. Но больше всего усталости было в лице – в тонкой складке губ, морщинах на лбу, таких глубоких, что они выглядели иссиня-чёрными, и больших, как слива, чёрных глазах. Уголки их были опущены вниз, оттого казалось, что человек вот-вот заплачет.

Но вместо плача человек надкусил плитку шоколада и с любовью огляделся вокруг. Всё было ему знакомо, каждая вещь имела свою историю.

Маленький владелец антикварной лавки, он и сам не помнил, зачем решил ещё в 90-е открыть её.

– Ты прогадаешь, – плакала мать. Последние сбережения хочешь вложить неизвестно во что? Откуда у людей деньги – покупать всякое старьё? И зачем?

– Зачем тебе это нужно? – вторили родственники и знакомые. – Прибыль ничтожная, непостоянная. Только пыли наглотаться среди старого хлама. Если уж так хочешь – открывал бы продуктовый ларек. Больше пользы было бы.

– Он думает, что это будет антикварный магазин. Ха! В лучшем случае – лавка старьевщика. Ветошник! – острили третьи.

Он никого не слушал. Лавка старьевщика – пусть! Люди несли и несли ему отслужившие своё, вышедшие из моды и даже совсем новые, но залежалые вещи – он покупал всё. За каждым визитом стояла чужая боль, бедность, страх. Реже – облегчение: как же – со старым хламом расстаются. Но большей частью – любовь.

За долгие годы он научился распознавать её под маской равнодушия или робости. Люди появлялись на пороге его лавки, и он мгновенно угадывал их состояние. Оно читалось в едва уловимых нервных движениях, по мольбе в глазах, по манере распаковывать принесённое.

– Что у вас? – спрашивал он, не глядя на посетителей. Трудно смотреть в глаза людям, расстающимся с дорогой реликвией. Он так и не смог стать безразличным.

Приносили разное. Старинные шали с длинными шёлковыми кистями, веера с перьями, лампы, бусы, мониста, золототканые скатерти, часы, вышитые туфли и кисеты, кожаные изделия, сервизы, статуэтки, хрусталь, столовое серебро. Тащили граммофоны, чугунные утюги, сундуки, ширмы и даже стиральные доски. И конечно, ковры всех мастей, расцветок и узоров – ворсистые, гладкие, вытертые и почти новые. Вещей было много, и воздух от них становился затхлым.

Он оценивал товар мгновенно и почти наверняка мог сказать – залежится он у него или сразу найдётся покупатель. Как правило, покупателями были иностранцы. Они заходили со скучающим видом, брезгливо тянули носом воздух и долго присматривались, прежде чем что-то взять. Он терпеливо отвечал на вопросы (пригодилось знание английского), подробно рассказывал о выделке, времени изготовления вещи или особенностях рисунка. Иностранцы оставались довольны и, выбрав что-то, расплачивались и уходили. Дверь за ними затворялась с мелодичным скрипом, словно вздыхала. Будто она тоже была частью товара и ей было жаль расставаться со своими собратями.

А поставщики его товара?.. Как много он перевидал их...

– Понимаете, очень нужны деньги, – сбивчиво лепетала старушка интеллигентного вида. – Я бы никогда не рассталась с этой сахарницей. Она очень старинная, настоящий веджвуд, но деньги очень нужны.

– Ой, это набор вилок, ножей, ложек. Мне подарили их когда-то. Но это такое старьё. Вот и решила сдать их сюда – может, кому-то и пригодятся, – кокетливо улыбалась молодая женщина в оранжевом приталенном жакете.

– Прадедушкин самовар. Только место занимает. Сколько дашь, брат? – доверительно сопел ему в ухо рослый детина. В его руках громадный самовар выглядел детской игрушкой.

– Я его выкуплю. Скоро поправим дела, и я его обязательно выкуплю, – женщина средних лет дотрагивалась до туго свёрнутого маленького паласа. – Это ручная работа, его моя бабушка ткала. Я его выкуплю, – твердила она как заклинание.

Торговец кивал, уверял, что так и будет. И они уходили, бросив прощальный взгляд на своё добро. Он ждал, пока за ними закроется дверь и молча расставлял купленное по углам и полкам. За все эти годы никто так и не вернулся за своими вещами.

Он полюбил их. Он даже сроднился с ними – с маленьким полуподвальным помещением, полумраком и грудой старья. В душе он даже называл его – «мои сиротки». Железные, кожаные, фарфоровые и тряпичные «сиротки» задумчиво поблёскивали со стен и углов, и в тихом блеске их чудилась благодарность.

От яркого света болели глаза. Он и раньше недолго любил электричество, и сейчас зажигал яркий свет только, если кто-то входил в магазин. В электрическом свете вещи утрачивали волшебность, становились просто хламом. В эти минуты он особенно остро жалел своих «сироток». Они напоминали ему сильно пожилых женщин, которые ещё хотят нравиться. Но яркий свет безжалостен к их ухищрениям – для уходящей красоты нужны свечи. Только они с их мягким мерцанием способны вернуть былую прелесть. Да и то – если расставить их правильно.

В этот осенний день покупателей не было. Они и без того захаживали нечасто, но в последние дни словно вымерли. Обезлюдела городская площадь, многие магазины были закрыты, а те, что работали, закрывались рано. Продавцы торопливо и сосредоточенно спешили домой. Вообще торопливость и сосредоточенность стали признаком времени. С такой же торопливой сосредоточённостью ветер гнал по площади палые листья. Они закручивались в воздухе разноцветным комом, и, шурша, мчались куда-то. От этого становилось тревожно.

Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре, —

вдруг всплыло со дна памяти. Он усмехнулся. Стоило окончить филфак, чтобы стать торговцем в антикварной лавке. Хотя, 90-е – чем не бесовский вихрь, когда всё сметалось, рушилось и переворачивалось с ног на голову. Только кружились не палые листья, а люди.

Он неспешно очистил гранат и стал есть. День угасал. В синих сумерках рубиновые зерна казались чёрными. «Так и в жизни, – невольно пришло ему на ум, – яркие краски юности постепенно сменяются холодными и строгими, а затем и вовсе чернеют». «Сиротки» важно поблёскивали со стен, будто соглашались.

Сейчас он доест гранат, закроет дверь и пойдёт домой. Ещё один день прошёл. «Сиротки» будут спать до завтра. И скорее всего это завтра будет таким же как сегодня.

Дверь звякнула с мелодичным скрипом. В лавку вошла молодая пара не старше 25 лет. Мужчина остановился в дверях, а женщина подошла к прилавку и в нерешительности огляделась.

В воздухе легко повеяло жасмином. На мгновение подумалось: так и должно благоухать молодое счастье – нежно, остро и тонко. В том, что это супруги, торговец не сомневался. Только у любящих молодожёнов такие светлые безмятежные лица.

– Что вы хотели? – он немного испугался своего сиплого голоса – намолчался за день.

– У вас есть, – она замялась. – М-м, что-нибудь такое с этническими узорами?

– Что именно? Ковры, посуда, лампы?

– Нет, что-нибудь маленькое, как сувенир, но, чтобы выглядело как настоящая вещь. Женщина явно не знала, как выразить свою мысль и улыбнулась. У неё была хорошая улыбка доброго и открытого жизни человека.

Он пришёл ей на помощь.

– Можно взять ножи в кожаных футлярах. Это настоящая кожа и старинная вышивка на ней. Адыгейский узор. Рукоятки ножей тоже украшены. Вот небольшие вазы, тарелки, кувшины тоже с росписью. Есть шали и небольшие скатерти с национальным орнаментом. Подушки, чеканки, кубачинская работа...

– Нет, нет, – она смешно наморщила носик. – Не надо никаких кинжалов. И остального тоже. Вот если бы... Знаете, когда-то моя бабушка продала в таком же магазине узорчатые туфли. Такие восточные, без задников. Они были с острыми носами и все расшитые золотом. У них ещё смешное название – бабуши. Их подарили бабушке на свадьбу. Она их не надевала никогда, хранила как сувенир. Я иногда ими играла.

Мне тогда было очень смешно: бабушка продала бабуши. Но на самом деле, это было грустно. Денег не хватало, вот и продала. Она одна меня растила. Она купила тогда продукты, приготовила много еды...

Глаза женщины чуть затуманились, но она улыбнулась и продолжила:

– Бабушка никогда о них потом не вспоминала. Но я подумала, что обязательно куплю ей такие же туфли, когда вырасту. А сейчас... Уже просто куплю, если повезёт... Но я хочу именно старинные, не новодел.

– Есть такие! Три пары. – Торговец достал с верхней полки несколько пар остроносых расшитых туфель и смахнул с них пыль. Они были похожи на задумчивых птиц в ярком оперении. – Вот, как по заказу. Одни золотые, другие серебряные, третьи – бисерные. Все старинные. Новых здесь не бывает. Выбирайте!

Мужчина подошёл к прилавку, и они с женой вполголоса стали что-то бурно обсуждать. Торговцу явно нравились эти люди. В них было много искренности, чистоты, и усталость ещё не исказила их черты.

– Вот эти! – звонко сказала женщина. – Они похожи на бабушкины. Те тоже были золотые, только узор немного отличается, но это ничего. Сколько с нас?

– Нисколько. – Торговец прищурился и отодвинул в сторону блюдечко с недоеденным гранатом.

– Но как это? – растерялись оба.

– Ничего, – повторил он твёрдо. – Я хочу, чтобы вы знали: не всё в мире можно купить или продать. Я хочу, чтобы у вас осталось на память что-то об этой антикварной лавке. Возьмите так.

И всмотревшись в их онемевшие лица, добавил устало:

– У меня сегодня день рождения. Я хочу вам сделать подарок. Имею я на это право?!

– Правда?! Спасибо! Ой, поздравляем! Как неудобно получилось! Ой, спасибо. Здоровья вам, счастья, удачи. Чтобы таких продавцов, как вы, было бы как можно больше! Спасибо! – тараторили они, пока он заворачивал бабуши в тонкую бумагу.

Дверь с мелодичным звоном затворилась за ними. В воздухе остался запах жасмина – тонкий запах молодого счастья. Даже «сиротки» на стенах и в углах блестели как-то празднично.

Он не спеша доел гранат, подобрал всё до последнего зёрнышка, сполоснул тарелку и стал собираться. Больше покупателей не ожидалось.

«А вовремя это я сообразил с днём рождения, – думал он. – Может быть, её бабушка именно мне продала свои бабуши. А их купил у меня какой-то турист. Хорошо, что у меня нашлись похожие».

Он запер дверь и вышел на улицу. Ветер по-прежнему гнал по улице листья. Они взлетали, подскакивали, с жестяным треском ударялись об асфальт и бежали, бежали, будто некто невидимый и злой подстёгивал их.

Было холодно и неуютно. Он покрепче запахнул куртку и вдруг почувствовал слабый запах жасмина. Видно, куртка пропиталась им в лавке.

Лёгкая улыбка тронула его губы. И лицо впервые за долгое время стало отдохнувшим и спокойным. Сегодняшний день не прошёл даром. Он был наполнен добром.

А завтра?..

Завтра будет завтра!

«Всё пропаль!»

*И обратился я, и видел, что не проворным достается успешный
бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство,
и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо
человек не знает своего времени.*

Книга Экклезиаста. Гл. 9. Стих 11

Который раз убеждаюсь в том, что ничто хорошее не повторяется. Впрочем, как и ничто дурное. Если повторяется, то уже в таком изменённом виде, что кажется абсолютно новым и неизведанным.

Во всяком случае прав поэт:
Никогда не возвращайся в прежние места.
Даже если пепелище выглядит вполне
Не найти того, что ищешь, ни тебе ни мне.

Но что же делать, если настоящее тревожно и неопределённо, а будущее вообще покрыто мраком неведения? Что?

Унывать? Можно, конечно. Причём со вкусом, с чувством, с толком, с расстановкой, погружаясь в уныние, как в нежнейшую пену морского прибоя после душного дня.

Но это не выход. Даже из нежнейшей пены хочется когда-нибудь вынырнуть и обтереться досуха полотенцем. Что уж говорить об унынии, разъедающем душу лучше любой кислоты?.. Погрузиться недолго, а вот вынырнуть... Коготок увяз – всей птичке пропасть.

Остаётся одно – искать отрады в памяти и верить, что её дворцы и сады, озёра и водопады не осыплются, как замки из песка, от соприкосновения с настоящим. Что только в памяти они будут несокрушимыми и пронизанными розовым светом радости. Видно, так уж устроен человек, что с бесконечным упорством ждёт повторения прекрасных моментов своего прошлого, ждёт неистово, страстно, и прошлое, смягчённое временем, кажется ему пленительней и ближе...

...Июнь 1988 года выдался в моём родном городе дождливым. В небе словно прорвало невидимую плотину, и оно обрушило на землю стены воды. Это в прямом смысле были стены. Дождь падал отвесно густой плотной пеленой, и казалось, что тебя со всех сторон окружает неведомое серое войско. По улицам вместо привычного в это время тополиного пуха неслись потоки. Все канализационные люки были открыты, и возле них вода плескалась бурунами. Асфальт был отмыт дочиста, спутанная сочная трава полегла на землю, как осенью, и цвет её тоже сменился на осенний – буро-серый. В воздухе пахло мокрым металлом, кожей, смятыми листьями, горчицей, валерьянкой и нагретой резиной – от огромных шлангов. Ими откачивали грязную воду из затопленных подвалов домов. Но почему-то все эти запахи, причудливо смешавшись, явили миру один – кислый и неистребимый – запах незрелой алычи. Вероятно, потому что дождь напрочь обил цветы церсиса – излюбленного дерева городских озеленителей. В мае-июне оно выглядело очень нарядным, потому что сплошь покрывалось мелкими розовыми цветами. Казалось, что вдоль дорог стоят сказочные великаны в розовых доспехах. В городе были аллеи, обсаженные одним только церсисом, и гулять по ним было удовольствием – они струили на землю розово-перламутровый свет.

А некоторые особо романтические натуры обрывали пригоршни цветов и старательно разжёвывали их на счастье! И утверждали при этом, что примета такая же верная, как если разжевать на счастье пятилистник сирени. Но в отличие от сирени цветы церсиса не горчили, а

отличались приятной кислинкой. И теперь эта же кислинка в громадном объёме ощущалась в воздухе. Дождь нещадно измял маленькие цветы, расшвырял их по земле, исхлестал струями, превратил в розовое месиво, печально всхлипывающее под ногами, отнял и передал воздуху их неповторимый свежескислый аромат. «Такова жизнь! – воскликнул бы какой-то доморощенный философ при виде этой картины. – Все мы приходим в мир, чтобы украсить его или защитить, или же отдать ему то, чем владеем». И слова эти были бы, конечно, банально верны.

20 июня побило все рекорды! Сезон дождей в Индии – не шёл ни в какое сравнение с этим днём! Казалось, что Зевс забросил молнии в дальний угол и вооружился огромным брандспойтом. Хохочущая, осатанелая вода низвергалась на землю, и всё, что могло двигаться, попряталось кто куда.

Я, возвращавшаяся с экзамена (они как правило бывают в самое неподходящее время), забежала под какой-то навес. Стена дождя была сплошная, серая, под навесом не было ни одного сухого места, но всё же оставался пяточок, где влаги было чуть меньше. В этом месте над крышей возвышался ещё и кипарис, и его мощная раскидистая крона отражала натиск воды.

– Всё пропаль! – сокрушённо произнес кто-то рядом со мной. – Всё, всё пропаль!

Обернувшись, я увидела... гриб-боровичок. Именно таким мне показался невероятно маленький, почти лилипут, но кряжистый человек со сморщенным, словно печёное яблоко, личиком. На нём были светло-коричневые выцветшие брюки, бежевая рубашка со смешными кисточками-завязками у горла и почти детские сандалии на крохотных ножках. Голову его украшала огромная коричневая соломенная шляпа, что ещё больше усиливало его сходство с грибом. Ни дать ни взять сказочный персонаж из фильма «Морозко».

Боровичок сокрушённо глядел перед собой, горестно разводил ручками, прицокивал и вздыхал.

– Всё, всё пропаль, – бормотал он почему-то на ломаном русском языке и покачивался, как при молитве. Сандалии его при этом издавали странный всхлипывающий звук, словно жаловались на что-то.

Дождь и не думал прекращаться. Временами он чуть слабел, но через минуту с невиданной силой обрушивался вновь. Было ясно, что застряла я под спасительным навесом на час, если не больше.

Боровичок продолжал покачиваться и бормотал что-то теперь уже на родном языке о несправедливости судьбы, посылающей свои блага в неурочный час. Из сбивчивого его монолога я поняла, что он школьный сторож и на него возложены ещё и обязанности по уходу за маленьким пришкольным участком. И что именно теперь, когда дети на каникулах, он решил возделывать его так, чтобы в сентябре все – и дети, и учителя – воскликнули: «Чудо!»

– Что пропало? – осторожно поинтересовалась я. Чувствовалось, что боровичок только и ждал собеседника, чтобы начать горестное повествование. Но начал он его почему-то снова на ломаном русском.

Оказалось, что вся его жизнь состояла из одних потерь, причём с младенческого возраста.

– Родился – маме патирыл, два лет бил – папи патерыл, пять лет бил бабушка-дедушка патирыл, семь лет бил – дядя-тётя патирыл.

В результате всех потерь Боровичок оказался в детском доме, где воспитывался до 17 лет.

– Патом работа бил – тоже патирыл, потом второй работа бил – тоже патирыл, жена – ушол, дочка – ушол.

Куда «ушол» жена и дочка, я постеснялась спросить, да это и не нужно было. Боровичок жаждал выговориться и нашёл в моем лице неожиданного слушателя. Тем более, что дождь всё усиливался.

Как выяснилось, после долгой череды потерь Боровичок нашёл место сторожа при школе и стал ухаживать ещё за садом. Он решил засадить его одними розами всех цветов и оттенков, потому что роза лучше всего приживается в нашей засоленной песчаной почве.

Из прерывистого рассказа выяснилось, что была посажена сотня саженцев карминных, алых, тёмно-рубиновых, розовых, палевых, оранжевых, лимонных, жёлто-красных, сиреневых, кремовых и снежно-белых роз. И вначале все они были как один похожи друг на друга – маленькие зелёные ветки. Но дивно поднялся на славу возделанный сад, трепетали на ветру тёмно-красные лакированные молодые листья саженцев, и уже дремали в одинаково-зелёных тугих чехлах острые бутоны. И каждое утро Боровичок осторожно, чтобы не потревожить лёгкий их сон, обходил своё крохотное владение, бережно прикасался к кустам и старался угадать, какой краской распишет Создатель ту или иную розу. Прикрывая глаза от солнца, Боровичок представлял себе цветущий душистый сад, в который вложил он столько труда и любви.

И вот теперь этот страшный дождь. За четверть часа от дружных розовых кустов не осталось и следа. Жалкие, обитые, исхлётанные, они испуганно прижались к земле, словно ища у неё защиты. Но земля сама перестала быть твердыней. Она превратилась в бурю жижу, с чмоканием вбирающую в себя сорванные листья и бутоны.

– Всё пропаль, – рефреном повторял Боровичок, и видно было, что эта потеря даётся ему очень тяжело и может даже стать последней.

Надо было что-то сказать. Невозможно было слышать дальше это «всё пропаль». У меня возникла мысль. Спасительная или нет, пока не знала, действовала наобум.

– А где он, ваш сад? – как можно более безразлично протянула я.

Боровичок взглянул на меня из-под шляпы. Глаза его были цвета засохшей горчицы и почти утонули в морщинах тёмного лица. Но он словно ждал, что кто-то хоть из вежливости или скуки, заинтересуется его садом.

– Там, – махнул он назад ручкой. – Издес!

Сообразив, что «там» и «здесь» для него понятия тождественные, я робко попросила:

– А можно посмотреть? Всё равно ведь стоять ещё неизвестно сколько.

Боровичок посмотрел на меня удивлённо и благодарно. На мгновение мне показалось, что историю под девизом «всё пропаль» он рассказывал уже не в первый раз. Бог его знает, сколько людей в течение этих «стенодождливых» дней пережидали под навесом потоки воды. И вынуждены были слушать историю о «погибшем саде». И, скорее всего, отмахивались от неё, как и от о самого рассказчика, как от чего-то бессмысленного и нудного.

Сад, вернее, пришкольный участок оказался в двух шагах от навеса. По сути, этот навес был большим козырьком, неведь как сооружённым над частью глухого забора, ограждающего участок.

Он действительно был жалок. Повсюду валялись сломанные ветки, размытые с корнями травы, размётанная кипарисовая хвоя, разорванные листья. Всё это утопало в грязи, которая до этого была плодородной унавоженной почвой. Но самое несчастное зрелище представляли розовые кусты. Плотно прижатые к земле, почти лишённые листьев, они были похожи на изнемогших путников, в отчаянии царапающих бесконечную дорогу.

Позади снова прошелестело: «Всё, всё пропаль». И в шелесте этом была безнадежность.

Дождь шёл, но уже слабее, чем раньше. «Если через пять минут не обрушится с новой силой, то можно потихоньку идти домой. Значит, уже стихает на сегодня», – смекнула я и безотчётно сделала шаг вперёд.

Передо мной лежал наполовину ушедший в грязь маленький розовый куст.

Видно было, что он только начал разрастаться и покрываться листьями. Сейчас они были густо облеплены грязью. Я осторожно, чтобы не сильно испачкаться, потянула к себе одну из веток. На ней было всего пять листьев, сморщенных, жалких, но почему-то все как один устремлённых вверх и изогнутых, как бока крохотной чаши. Словно несколько человек в едином порыве сложили ладони лодочкой, оберегая нечто очень важное и хрупкое.

И внутри этих сморщенных, почерневших от нескончаемого дождя листьев действительно было бесценное чудо. Крошечный острый бутон, живой, ненадломленный! В прорези

тугих зелёных лепестков виднелась тончайшая розовая полоска – значит, скоро явится миру юная красавица в розовом платье!

Я потянула к себе ещё несколько веток теперь уже других кустов. На некоторых из них точно так же страшные, почерневшие листья сложились лодочкой, оберегая маленькие бутоны с пока ещё спящими в них красавицами в вишнёвых, белых, лимонных, оранжевых и сиреневых платьях.

– А вы говорите: «Всё пропаль»! – сказала я и протянула Боровичку одну из таких веток. – Смотрите.

Он недоверчиво, словно не желая ещё расставаться с унылым «всё пропаль» поднёс к глазам ветку, потом вторую, третью, напряжённо вглядывался и вдруг распустил все морщины на тёмном лице, расцвёл, словно ещё неведомая миру коричневая роза.

– Ай, дай Бог тебе счастья за такую весть, ай, добрая судьба занесла тебя, дочка, сегодня сюда, – забормотал он вновь на родном языке. И это было началом бесконечного, теперь уже счастливого монолога, краткий смысл которого был в том, что высшие силы всегда будут милосердны и вступятся за тех, кто старается жить по совести, не имеет в душе злых помыслов и работает для радости и красоты.

За монологом мы совсем не заметили, как дождь совсем ослабел, выдохся и теперь на землю падали уже редкие капли. Небо, словно красивая капризная женщина, закатило истерику с бурным плачем, но теперь устало рыдать и лишь иногда судорожно всхлипывало. Но вскоре и этим всхлипываниям пришёл конец, и на грязи, в которую мы с Боровичком ушли по щиколотку, появилась тонкая бледно-золотая полоска – несмелая улыбка солнца. Оно сразу же скрылось за ещё плотными тучами, но тут же появилось снова – легло широкими полосами на изгвазданную землю, лежащие на ней розовые кусты и прибитую траву.

– Всё пропаль? – улыбнулась я.

Боровичок улыбнулся в ответ, и мне показалось, что так, наверно, улыбалось бы само счастье – смущённо и светло.

– Нет, – тихо ответил он. – Будут жить. Приходи сюда, дочка, через десять дней. Самые красивые розы для тебя соберу. Такого сильного дождя уже, наверно, не будет. Приходи через десять дней, они все расцветут.

Боровичок оказался прав: после 20 июня дожди стали убывать и вскоре совсем прекратились. Но мне не удалось прийти туда снова. Вначале было некогда, потом – тоже некогда, затем – как всегда некогда, а после, наверно, и незачем. Сейчас на этом месте давно уже возвышается другая постройка. И только в памяти моей будет вечно цвести благоуханный розовый сад, который мне довелось увидеть неприглядным и жалким. Но каких только чудес не бывает под солнцем?.. И последние становятся первыми, и дивно расцветают мёртвые сады, и «всё пропаль» сменяется на «будем жить».

Каких только чудес не бывает под солнцем!..

Месяцы года

Январь: На побегушках

*Ангел бледный, легкокрылый,
К нам отпущенный на землю!
Грѣз твоих я шѣпот милый
Чутким слухом чутко внемлю.*

Валерий Брюсов

Ангел сидел, свесив грязные ноги и опустив плечи. Это был обычный рождественский ангел – мелкий клерк в небесной канцелярии, привыкший исполнять обязанности ещё и курьера. Чудеса доставлял! Так сказать, ангел на побегушках. В праздничные дни работы у него было особенно много, и он уставал безмерно.

Но сегодня, кажется, он перевыполнил свою норму. Шутка ли сказать – с самого утра мотался по серому зимнему небу. Январь, холод собачий, а тут ещё везде поспеть надо: этой в тяжёлых родах помощи; этому ребенка от удушья спаси; родителям третьего жизнь продли и от паралича убереги; этих помири; тех, наоборот, от неверного шага останови; чьё-то начальническое сердце умилоствив, чтобы работники его премию к празднику получили и своих домочадцев обрадовали; бездомным собакам и кошкам тёплые подворотни укажи и сделай так, чтобы жильцы не только на них не ругались, но ещё и подкормили бедолаг и тёплые тряпки под них подстелили. И всё это он – рождественский курьер, то есть ангел. К концу дня, уже и крылья не держали, шагал босиком по грязным обледеневшим лужам.

Хорошенькое дело – вся остальная ангельская братия будет вечером горячий нектар попивать и игрой на арфе баловаться, а он должен ещё хитон свой стирать и крахмалить, подол-то совсем заляпался. У ангелов слуг нет – всё самому приходится делать, как в армии. Хорошо ещё, что ангелы не болеют, а то бы наверняка простыл. Да и хитон-то громадный, не по размеру, издали на платье-клѣш похож. Стирки часа на два, не меньше. А потом ещё сушить, утюжить... Полночи пройдет.

Пора домой, на 18-е облако. Там вроде как казарма для ангелов мелкого ранга. Тем, кто чином повыше, конечно, изолированное облако. Ну, это понятно.

А лететь не хочется. Кажется, так и просидел бы всю ночь на крыше пятиэтажки, смотрел, как тают в фиолетовых сумерках снежинки. Жаль, что пятиэтажек всё меньше. Многоэтажки неуютные, веет с их крыш вселенским холодом, а пятиэтажки – добрые – ни небо, ни землю не обидели. Вроде как высоко, смотришь вниз – голова маленько плывёт. А людей всё же видно: ходят, разговаривают, суетятся, надеются на что-то. Не то, что с небоскрѣбов, когда вообще ничего не углядишь.

Только холодновато. Ангел поёжился, и крылья его покрылись гусиной кожей. Он хихикнул. Хорошо, что никто не видит гусиную кожу под перьями. А нос-то, нос! Повис унылой длинной сосулькой. Господи, ну почему у всех его товарищей настоящая ангельская внешность – весь набор в комплекте: золотые кудри, голубые глаза, фарфоровая кожа, розовые губы, тонкие черты лица, а у него нос – Бог семерым нѣс, а ему одному достался! Глаза цвета жѣной пробки, жидкие серые волосѣнки, запавший рот и бугристая кожа землистого цвета. Господи, где же твоя справедливость?! Где моя ангельская внешность, позволь спросить?! Водопроводчик из ближайшего ЖЭУ и то краше, даром, что не просыхает уже неделю.

Кстати, о водопроводчике. Как пить дать, нажрался опять где-нибудь и дрыхнет дома. А какой дом – название одно! Один как перст живѣт, в доме захламлено, намусорено, нечи-

сто. На пол ступить невозможно: липкая грязь к подошвам пристаёт. И холодно – треснутое окно драным паласом заткнул. А толку с него – ветер гуляет, засохшие окурки по полу гоняет, словно кошка с мышкой играет. В кастрюлях вместо еды тоже окурки в какой-то мерзкой жиже плавают. Слава Богу, что хоть дом пока не спалил. Сколько раз ангел сигареты тлеющие гасил – одеяло почти все прожжённое. А ему хоть бы хны! А воздух – хоть святых выноси. Крепкий кислый запах сивухи и табака – в конюшне и то легче дышится. Но водопроводчик привык уже, из пушки не разбудишь.

А если в подсобке уснул? Ангел задумался. Дома хоть какая-никакая кровать. Или диван? Да Бог с ним, хоть что-то. Продавленное, колченогое, но ложе! И одеялом накрылся, наверно. А в подсобке цементный пол, а из текстиля – только – промасленная тряпка и старый свитер, намотанный на швабру.

«Не полечу! Да ну его к лешему! Я тоже не железный. В конце концов должен человек хоть какие-то мозги иметь. Его Бог по образу и подобию сотворил, вот пусть хоть разок вспомнит о Нём. Мне домой надо, ноги помыть и ещё хитон стирать. Завтра опять целый день по небу мотаться с поручениями. Не полечу!»

Ангел решительно расправил крылья. До 18 облака было сорок минут лёту. Он взмыл в небо, которое из фиолетово-сумеречного стало свинцовым, покружился немного над пятиэтажкой, чтобы размяться, и... круто развернувшись, полетел к подсобке.

Летел и ругал себя: «Тебе что, больше всех надо? Смотри, какой праведник выискался, в серафимы метишь! Ты хоть в архангелы сначала выбейся, а то так и будешь мотаться на побегушках. Ага, медалей тебе навешают за героизм. Лети домой!»

Крылья упорно несли его к подсобке. Он подлетел и всмотрелся в замызганное окошко. Так и есть: спит бедолага на цементном полу.

Ангел, не взломав окно, опустился рядом с храпящим и что-то бормочущим во сне существом. Оно было облачено в джинсы неопределённого цвета и клетчатую байковую рубашку. От вещей несло запахом спирта и немытого тела, а от пола – могильным холодом.

Ангел огляделся по сторонам. Нигде не было и намёка на ткань. Не стелить же в самом деле на пол свитер со швабры и промасленную тряпку. Да и на кой они для водопроводчиковой туши?

Он ещё раз огляделся и... эх, была не была!

– Эх ты! Животное неблагодарное! – ругался ангел, стаскивая с себя хитон. – Нет, только посмотрите, что он вынуждает меня делать! Вот как мне голым домой лететь?

Голый ангел являл собой зрелище ещё более уставшее и унылое, чем одетый. Худой, с выпирающими костями, он ползал вокруг спящего и пытался перетащить его на расстеленный хитон. Наконец это ему удалось.

Водопроводчик только чмокнул губами, засопел и перевернулся на другой бок. Ангел укрыл его полами хитона и невольно залюбовался на свою работу. Спит пьяница, как спелёнатый младенец в колыбельке, и улыбается непонятно чему. Наверное, видит во сне что-то хорошее. Тепло ему. Ангел это точно знал.

Он осторожно выбрался наружу и задрожал от холода. Валил снег, укутывал собою крыши домов, деревья, мосты, памятники, человеческое горе, страдание, тревоги. Накрывал покоем и безмолвием. Белый – цвет тишины.

«Хорошо, хоть ночь сейчас, – подумал ангел. – Никто не увидит».

Он парил над тихою землёю в холодном январском небе. Где-то высоко горели голубые звёзды, и свет их был ласковым, но таким слабым, что ангел летел почти во тьме. И только догадывался, что до 18-го облака осталось не так много. Мимо с нежным свистом проносились минуты, часы, столетия – ангел давно привык, что у Вечности только одна мера – мгновение.

На 18-м облаке все уже спали. Ангел ошупью нашёл свою кровать и с наслаждением растянулся под одеялом.

«А ноги-то я так и не помыл», – промелькнуло в засыпающем мозгу. И сразу эта мысль сменилась утешительной: «А, ладно, завтра».

Назавтра проспавшийся водопроводчик с пеной у рта доказывал своим друзьям, что не иначе как Провидение Божье вмешалось, потому как он проспал с девяти вечера до самого утра на цементном полу подсобки, ничем не укрытый, а у него не то, что почки, печень, суставы и всякая дребедень не болит, а даже задрипанного насморка нет.

– Хотя, – глубокомысленно заявлял он, подняв кривой указательный палец, это всё «хенетика». Папаша мой тоже не дурак был заложить за воротник, а никакая хворь его не брала. До 87 прожил старик!

Друзья понимающе кивали головами. Против «хенетики» кто ж спорит?!

Ангел, как обычно, спешил по делам. Вместо хитона он завернулся в простыню – на первое время сойдёт. Потом что-нибудь придумает! На складе, вроде, должны быть запасные на крайний случай.

Времени у него было в обрез. Поэтому он чуть-чуть покружился над тесным двором подсобки, послушал хвастливые излияния водопроводчика и улыбнулся: всегда приятно сделать что-нибудь хорошее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.